

«Русская мысль»

## ОБ АРТЕМЕ ВЕСЕЛОМ И ПИСАТЕЛЬСКИХ ДАЧАХ В ПЕРЕДЕЛКИНЕ



Писатель Артем Веселый с женой, дочерью и родителями (1927 год).  
Снимок публикуется впервые.

С большим интересом и грустью прочел я в «Русской мысли» № 3548 очерк Анатолия Копейкина «Иные господа теперь гуляют здесь...» по поводу грустной судьбы дома Чуковских в Переделкине и неудачных попыток сохранения его как музея Корнея Чуковского. В рассказе есть некоторые неточности, являющиеся результатом официального закрепления в СССР безобразий сталинского периода. Молодые литераторуведы вынуждены зачастую работать ощущением и подсознанием.

Виями жизни в тесной квартирке на улице Тверской, где пришлось ютиться с женой, четырьмя детьми и старыми родителями, писатель не ждал, пока на выделенном ему участке начнут строить дом, но, как бывший плотник, в паре со своим отцом, бывшим самарским крючником, сам стал его воздвигать. Он был мастером на все руки, и весь дом он сам и отдал. Скоро после того, как дом на улице Серебрякова, 5 (где ныне живет писатель Валентин Катаев) был готов и

## «Историческое отчаянье» и долг русской эмиграции

Ответ Александру Зиновьеву

Альтернативы — вернуться или остаться — нет и не может быть. Есть только проблема — как жить с той трещиной, которая расколола наше сознание, как перебросить мост между двумя полюсами, не способными ни сблизиться, ни перестать существовать. Зиновьев формулирует эту проблему в первых же строках: «У меня есть твердое намерение не возвращаться, хотя у меня есть страстное, мучительное желание вернуться». И эта стоящая перед русской эмиграцией проблема, сама по себе бездонная, еще больше осложняется тем, что происходит внутри эмиграции. Вероятно, именно это «внутри» придает интонациям Зиновьева столько резкости и пессимизма. Но его можно только благодарить за эту резкость. Без точного и прямого диагноза никакое лечение невозможно.

Когда я оказалась на Западе, одним из первых моих чувств была горечь перед непривлекательным обликом многих сторон русской эмиграции. Люди разбивались на группы, которые упорно враждовали одна с другой (но и внутри каждой шла склоки за лидерство или хотя бы близость к нему), поносили друг друга и тратили на это столько времени и энергии, что нельзя было удержаться от изумления: да помнят ли они, что у них за спиной остался все тот же архипелаг, еще более железобетонный, чем прежде? Именно за спиной, потому что они отворачивались от главного, поглощенные сведением своих счетов. Меня удручило это полное смешение перспективы, искажение всех масштабов, вечная мелочная калькуляция: кто сколько выстрадал в прошлом, кто недострадал, кто перестрадал, кто сколько получил в настоящем, кто недополучил и кто переполучил. Эмиграция сохранила извечные пороки среднего русского интеллигента — краснобайство, боязнь честной и жесткой самооценки, приверженность к убогим клише — помножив их на еще большую

между этим малопривлекательным обликом эмиграции в нижнем белье, без чистой сорочки и без облагораживающей косметики — и значительностью, нет, огромной ценностью того, что создавалось либо ею сама, либо только благодаря ей, самому факту ее существования. Она вызвала к жизни целую прессу, неровную, пеструю, разноголосую, но упорно сосредоточенную на русских проблемах, — и эта пресса своей широтой поражает не только нас, приехавших из страны, где за газетой укрепилась функциональная роль обертонной или еще кое-какой бумаги. «У вас, русских, здесь столько всего издается! — с изумлением говорила мне одна женщина, прекрасно владеющая нашим языком. — Больше, чем у нас! Когда вы все это успеваете читать?»

Одной этой прессы было бы достаточно, чтобы оправдать нашу эмиграцию со всеми ее уязвимыми, а то и постыдными качествами. Первые недели на Западе я провела, захлебываясь в этом потоке. Ощущение России в нем было гораздо сильнее и живее, чем когда я жила в самой России, в кольце молчания и изоляции. («Когда в доме подыхает телефон, когда не с кем даже пару слов сказать, когда лучшие друзья со всех сторон начинают тебя грязью поливать...») Чувство настоящего полного освобождения пришло ко мне не на земле венского аэропрома, — над страницами эмигрантской прессы.

Но и это было еще не все. Литература, которую успела создать за короткий срок наша эмиграция, до того ярка и многохватна, что только мы, русские, способны видеть в ней нечто обычное и даже ощущать недовольство ею. Имена называем называть — их все знают. Можно уверенно сказать, что литература эмиграции выше, лучше самой эмиграции. Невозможно перед этими десятками томов принять слова Зиновьева: «И нас

на» эмиграции жила младенческой надеждой на то, что Россия вот-вот опомнится и все в ней вернется на круги своя. «Перемещенные лица» после войны ждали, что со смертью Сталина откроются лагеря и можно будет опять пересечь границу...

Мы — первые, кто трезво знает, что ничья смерть ничего не изменит, что надеяться на «биологическое обновление» «либеральных технократов» у власти могут только западные журналисты. Архипелаг ГУЛАГ на наших глазах превращается в материк ГУЛАГ. Пожизненная эмиграция. Приговор окончательный.

Кто же мы тогда, пожизненно приговоренные, и что нам остается? С детства мне запомнился финал знаменитой книги Рэя Бредбери. Библиотеки уничтожены, книги сжигаются, цивилизация вырвана с корнем. Но где-то вдалеке от городов скрываются люди, сохранившие в своей памяти сожженное. Ночами они сидят у костров и рассказывают друг другу наизусть страницы Монтеня, Платона и Свифта. — значит, это неуничтожимо, и наш Михаил Булгаков гораздо раньше Бредбери сказал свое «рукописи не горят».

Если хотите, мы в эмиграции больше всего похожи на этих людей у костров. Да, мы предпочли бы действовать, но пока нам дано быть только памятью и словом. Это наш главный долг перед нашей страной, и если мы его выполним, «историческое отчаянье» власти над нами не получит. Долг нелегкий. Совсем не такой благородный, как у людей Бредбери. Мне бы больше хотелось пересказывать у костра блестательные, язвительные, полные надежды страницы «Философского словаря» Вольтера, стихи Мандельштама об Ариосто или монологи Софокла, а не писать банальную и безнадежную сагу о предательстве, лжи, доносах, вывижнутых судьбах, о полковниках КГБ во главе научных институтов. Но мы единственные, кто может сказать об этом и о

кине и неудачных попыток сохранения его как музея Корнея Чуковского. В рассказе есть некоторые неточности, являющиеся результатом официального заекречивания в СССР безобразий сталинского периода. Молодые литераторы вынуждены зачастую работать ощущениеми и пользоваться не всегда верными сведениями из третьих рук.

Анатолий Константин пишет:

«Когда мы руялись под домом (Чуковских). — И.Ш.), то нашей мечтой было — раскопать архив Артема Веселого, автора книги «Россия, кровью умытая». Дело в том, что первым арендатором дома был этот пролетарский писатель, и когда он почувствовал, что тучи сгущаются, то куда-то упрятал свой архив, так что до сих пор он не найден. Были предположения, что он закопан под дачей. После того, как Артема Веселого арестовали и расстреляли, дом сдали К.И. Чуковскому в аренду».

Дело в том, что Артем Веселый нико-да ничего общего с домом Чуковских не имел, разве только что жил по соседству, отделенный забором. В начале шестидесятых годов мне довелось тщательно исследовать жизнь и творчество Веселого, так как я тогда работал над польским переводом эпопеи «Россия, кровью умытая». (Кстати, узнав об этом, скончавшийся недавно выдающийся литератор Виктор Шкловский сказал: — Батюшки, да это надо сначала перевести на русский язык! — имея в виду неповторимый язык этого произведения, своеобразные говоры крестьян, солдат и матросов.) Желая предпослать тексту романа подробности сложной биографии тогда только что посмертно реабилитированного писателя, я отправился из Варшавы в Москву в поисках нужных материалов. Мне удалось разыскать дочерей писателя, Заяру и Гайру, и получить от них нужные сведения, перепечатки рукописей, первые издания книг и семейные фотографии. (Между прочим, архив писателя был уже тогда найден и среди бумаг был обнаружен план всех двадцати четырех глав романа «Россия, кровью умытая», из которых, как известно, автору удалось при жизни осуществить только девять.)

История же дома Артема Веселого такова: когда созданный в 1934 году при Союзе писателей СССР Литфонд приступил к строительству города писателей «Переделкино» рядом со станцией Баковка Киевской ж.д., Артем Веселый был одним из первых, который туда переселился. Утомленный тяжелыми усло-

влениями ему удалось пнуть строительство, но, как бывший плотник, в паре со своим отцом, бывшим самарским крючником, сам стал его воздвигать. Он был мастером на все руки, и весь дом он сам и отдал. Скоро после того, как дом на улице Серафимовича, 5 (где ныне живет писатель Валентин Катаев) был готов и семья Веселых в него въехала, хозяина внезапно арестовали за принадлежность в двадцатых годах к литературной группе «Перевал», объявленной в 1937 году контрреволюционной. После расстрела писателя его осиротевшую семью тут же из дома выбросили и вселили в комнату коммунальной квартиры.

За собственноручно построенный Артемом Веселым дом разгорелась ожесточенная борьба между двумя столпами советской литературы — Ильей Эренбургом и Валентином Катаевым. Одержал верх Эренбург, но он был тогда военным корреспондентом в Испании, а когда приехал на время в Москву, ему отказали в паспорте. Поглощенный свалившимся на него опалой, он не торопился занять отведененный ему дом. Он написал письмо Сталину — и не получил ответа. Все в Москве считали, что судьба его решена. В пустующий дом Артема Веселого неожиданно вселился Катаев с семьей.

Однажды я спросил у Катаева, какова причина его многолетней и столь непримиримой вражды с Эренбургом. Катаев, не смущаясь, сказал, что все началось из-за этого дома.

— Я уже пережил факт, что дом Артема Веселого достался Эренбургу, когда неожиданно позвонил Фадеев и велел мне срочно явиться. Когда я пришел к нему, он сказал: «Слушай, Валя, я только что поставил свою подпись на ордере на арест Ильи Григорьевича. Можешь взять ключи в Литфонде и занять бывший дом Артема Веселого». Я, не мешкая, так и сделал, а через день стало известно, что Эренбургу удалось еще раз выпутаться. Второе его письмо попало к Сталину — и он тотчас же уехал в Испанию. И хотя он потом получил широкую дачу в Новом Иерусалиме, он до сих пор относится ко мне злопыхательски, — завершил свой рассказ Катаев.

«Habent sua fata domi» — дома имеют свою судьбу (особенно в СССР) — скажем, модифицируя известную латинскую поговорку о книгах.

ИГНАТИЙ ШЕНФЕЛЬД

Мюнхен

## Владимир Набоков и Советская Россия

По поводу статьи Василия Естаки-

меля о нем, ему удалось пнуть строительство, но, как бывший плотник, в паре со своим отцом, бывшим самарским крючником, сам стал его воздвигать. Он был мастером на все руки, и весь дом он сам и отдал. Скоро после того, как дом на улице Серафимовича, 5 (где ныне живет писатель Валентин Катаев) был готов и семья Веселых в него въехала, хозяина внезапно арестовали за принадлежность в двадцатых годах к литературной группе «Перевал», объявленной в 1937 году контрреволюционной. После расстрела писателя его осиротевшую семью тут же из дома выбросили и вселили в комнату коммунальной квартиры.

Но тем более поразил меня контраст

страдал в прошлом, кто недострадал, кто перестрадал, кто сколько получил в настоящем, кто недополучил и кто переполучил. Эмиграция сохранила извечные пороки среднего русского интеллигента — краснобейство, боязнь честной и жесткой самооценки, приверженность к убогим клише — помножив их на еще большую узость мысли, которая неизбежно создается замкнутостью и кружковщиной. Было тяжело видеть, как люди, располагающие возможностью говорить самим и давать другим слово или лишать его, пользовались этой властью в своих кружковых интересах и отворачивались от фактов или мнений, не ложившихся в принятые ими схемы, но зато выражали радостное умиление перед любой «тезой», представленной явно недобросовестными или катастрофически недалекими людьми, если она этим схемам льстила или позволяла искусственно поддерживать их.

Конечно, причин для горечи все равно много, и одна из главных — та пассивная роль, которая отведена сегодняшней эмиграции всем ходом истории. Русские эмигранты не были к ней приучены. В XIX веке из России уезжали, чтобы учиться в Гейдельберге, Женеве и Марбурге, а потом скорее назад, отдавая долг и знания своей стране; уезжали готовить революцию и тоже рвались обратно. Эмиграция даже означала приближение, ускорение действия в России. «Первая вол-

## Точка зрения

### Немного о романе Булгакова

На страницах «Русской мысли» от 15 ноября с.г. о романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» можно прочесть буквально следующее: «...в романе... Богочеловек представлен только в своем человеческом облике и в своей человеческой судьбе» (статья И. Сермана «Заметки на полях»).

С точки зрения христианской веры, высказывание И. Сермана бессмысленно, поскольку в каждый миг своего земного воплощения Христос одновременно и человек, и Бог, и Его не дано разделить ни романистам, ни критикам.

Статья И. Сермана — очередная рекомендация романа М. Булгакова. В ожидании, быть может, подробного разбора этого произведения мне хочется напомнить, что после его публикации были прознесены и слова предостережения: один из авторов Самиздата назвал этот роман «Евангелием от Воланда», т.е. «сатаны».

И в самом деле, пока ни один филолог не поставил вопроса, несмотря на все недоверие к советской власти, о мотивах публикации романа советским журналистом в 1966 г. В этом произведении между тем утверждается, что Евангелие не есть достоверный источник о Богочеловеке Христе, а сам роман претендует быть этим источником, хотя и не навязчиво, не в доктринальной форме, а «художественно» развертывая фантазии писателя. Последний даже и не скрывает, что рассказчики — Мастер (он же Бул-

гаков) и Маргарита — христиане, способные видеть в ней нечто обычное или даже ощущать недовольство ею. Имена назначены называть — их все знают. Можно уверенно сказать, что литература эмиграции выше, лучше самой эмиграции. Невозможно перед этими десятками томов принять слова Зиновьева: «И нас самих давно нет, есть лишь призрак существования... И все то, что придавало смысл нашей жизни, давно исчертало себя, испарилось в ничто...».

Конечно, причин для горечи все равно много, и одна из главных — та пассивная роль, которая отведена сегодняшней эмиграции всем ходом истории. Русские эмигранты не были к ней приучены. В XIX веке из России уезжали, чтобы учиться в Гейдельберге, Женеве и Марбурге, а потом скорее назад, отдавая долг и знания своей стране; уезжали готовить революцию и тоже рвались обратно. Эмиграция даже означала приближение, ускорение действия в России. «Первая вол-

ловные надежды страницы «Философского словаря» Вольтера, стихи Мандельштама об Аристотеле или монологи Софокла, а не писать банальную и безнадежную сагу о предательстве, лжи, доносах, вывиных судьбах, о полковниках КГБ во главе научных институтов. Но мы единственные, кто может сказать об этом и о многом другом.

И если наша судьба трагичнее, чем у прежних русских эмигрантов, то в чем-то она цельнее и шире. Прежняя русская эмиграция никого не представляла. Как бы талантлива ни была волна, хлынувшая из страны после Октябрьской революции (во много раз талантливее, чем теперешняя), она с самого начала была обломком бывшей России, уже переставшей существовать. Мы — плоть от плоти той России, которая сейчас существует. Мы с начала до конца делили с ней все, и это никогда не даст нам почувствовать себя «отщепенцами». Мое поколение в раннем детстве пережило войну и послевоенные годы. Мы знаем, что такое блокадная осмьушка хлеба, как на твоих глазах одного за другим выносят за дверь трупы твоих близких (они такие легкие и маленькие), что такое горящая степь, немецкие самолеты над обезумевшими людьми на дорогах, немецкий револьвер у вашего лица (еще бы, когда ваш рост — как раз до кобуры), голод, бездомность, развалины и великое счастье надежд после войны, и преданность земле, по которой мы прошли этот путь. Никто из нас не жил в себе — через наши детские души как будто несся поток без берегов. «Какая музыка была, какая музыка играла...»

Нас не пугала жизнь в коммунальных квартирах, работа за гроши, пустые магазины — нам казалось, что мы жили для чего-то огромного, несознанного с этическими мелочами. Пока мы не поняли, что живем и работаем ради разжиревшей, циничной номенклатуры, откровенно презирающей нас за наш энтузиазм и лояльность. Но и в этом мы разделяли судьбу с огромной массой своего народа. И поэтому к нашему долгу присоединяется полное право говорить за него — пока «народ безмолвствует».

Разве всего этого мало, чтобы перечеркнуть «историческое отчаяние»? Нет, не перечеркнуть, а переплавить его в те самые память и слово, которые только и могут быть сейчас нашим единственным действием. Для нас не может быть счастливого конца, но кроме нас никто не подготовит его для будущего поколения. Мы никогда не вернемся — зато вернутся наши дети — русские из Оклахомы, Монреяля, Парижа. Может быть, это будут единственные русские со свободной головой и со свободной волей, которые останутся тогда на земле. Советская психиатрия своими стахановскими темпами дгоняет и перегоняет даже ликерно-водочное производство — кто знает, что